

МОЙ ТОВАРИЩ УИНСТОН СМИТ*

Я, как и все, кому не стыдно в этом признаться, когда-то, читая книги, отождествлял себя с их героями и переживал чудесные придуманные приключения. Прелесть чтения состояла в том, что это я был охотником за микробами и спасал тысячи людей от неизбежной смерти; это я приземлял космический корабль на чужих планетах с причудливыми растениями и животными, где у женщин жгучие глаза и красная кожа. Я прикидывал все возможности добра (или зла?), которые я мог бы совершить, будь я невидимкой; думал о тайнах, которые я мог бы раскрыть. В душе я упрекал Уэллса, что он не использовал эти возможности и позволил толпе на улице убить невидимку. Но больше всего я мечтал быть с Сюзанн, Титти, Джоном, Рожером, Нэнси и Пегги на Острове Диких Кошек или плыть с Дороти и Дикком по южным рекам Яре и Буре, к Брейдонскому озеру и дальше к Ярмуту и в открытое море. Похоже, это свидетельствует, что с детства я подсознательно стремился к жизни без конфликтов, что меня тянуло к правилам приличия, которые велят и в диком лесу поблагодарить за два куска сахара к чаю. Как странно!

Только став взрослым, я понял, что нельзя по желанию выбрать для своей жизни самые увлекательные приключения из книг, что приходится выбирать жизненный сюжет, соответствующий твоему душевному складу, — и прожить его до конца. Так происходит со всеми, хотя, наверное, существуют люди, так и не прочитавшие этой „своей книги“. Записанные истории определяют границы наших жизней. Их неповторимость, кото-

рой мы так гордимся или утешаемся, состоит лишь в деталях. Лишь очень самолюбивые люди считают, что их жизнь — нечто совершенно исключительное, не имеющее прецедента, описанного хотя бы в нескольких предложениях в какой-нибудь старинной книге, уже распавшейся в пыль и прах.

Я лично пережил испуг, открыв эту истину, когда читал историю Уинстона Смита. Я вдруг почувствовал, что читаю свою собственную историю. Она для меня еще не началась, но я знал, что она начнется и что мне не избежать ее рокового продолжения. Я читал, не веря своим глазам, и у меня было ощущение, будто цыганка гадает мне по руке, или будто я смотрю в стеклянный шар на столе неопытной гадалки: ощущение брезгливости и неуверенности. На улице, при свете солнца, это покажется смешным предрассудком, но вдруг, если?..

Когда я впервые читал о судьбе Уинстона, мне было немногим больше тридцати. Я был тогда чуть моложе его, и все, что случилось с ним, еще могло случиться со мной. Так же, как и он, я вырастал в тоталитарной системе; я никогда не бывал в других странах, и у меня не было уверенности ни в прошлом, ни в настоящем, ни тем более в будущем. В известном смысле я был тоже работником Министерства Правды, живя в плену распространенной им идеологии. Во всяком случае, я, как и Уинстон, разбирался в производстве лжи и боялся конфронтации, к которой меня гнали пугающие сомнения и чистая бумага. Как и Уинстон, я смутно понимал, что чистая бумага будет испирана, что это — неизбежно, что судьба человека может свершиться лишь через эту конфронтацию. Книга лежала передо мною, я смотрел на последнюю страницу и у меня тряслись руки. Я испытывал непередаваемое ощущение идентификации и напрасно старался на улице, на солнце избавиться от него. Я был один на один со своим Смитом, и каждый из нас знал свое.

Кстати, я познакомился с Уинстоном по книге очень неприемлемой, в красном издании „Пингвина“, по тогдашним ценам за три шиллинга и три пенса. Книжку привезла моя жена из своей первой поездки в Англию. (Тогда еще можно было перевозить книги через границу.) На обложке был изображен какой-то туннель из паутины, из конца которого на меня смотрел глаз Старшего Брата. Названием были магические цифры — тысяча

* При переводе с чешского использовалось русское издание романа Джорджа Орвелла „1984“, напечатанное в Италии (ROMA).

девятьсот восемьдесят четыре. Автор, Джордж Орвелл, был уже почти пятнадцать лет мертв, а до магической даты оставалось более двадцати лет. За эти двадцать лет, прошедших с тех пор, я много раз держал в руках красную пингвиновскую книжку. Вскоре я знал ее почти наизусть. Она стала чем-то вроде домашнего справочника. В семье мы часто пользовались выражениями новоречи, чтобы выразить невыразимое. Один из моих друзей называл меня в письмах „представителем двоемыслия“, что вовсе не было похвалой.

Теперь, двадцать лет спустя, я могу лишь отметить, что мой испуг при первом чтении был вполне обоснованным. Моя жизненная судьба становилась все более похожей на историю красной „пингвинки“. Я привык к этому и принимал все, с чем мне приходилось встречаться, без особого удивления — я все знал заранее от Уинстона. Я слился с этим человеком настолько, что никогда не смогу с уверенностью сказать, что в определенной ситуации выработал мой мозг, а что было лишь невольным повторением реакций Уинстона.

Когда меня однажды после полуночи уводили в черную машину, стоявшую перед домом, и я понял, что на этот раз одним предупреждением не отделаться, я воспринимал все происходившее лишь как вариант сцены, когда Полиция Мысли уводит Уинстона и Юлию из их убежища над лавкой старьевщика, господина Чаррингтона. Мне пришлось сдержаться, чтобы не впасть в бесвкусицу и не сказать жене на прощание: „мы мертвецы“. Однако позднее, во время допросов, я много раз пользовался аргументами Уинстона. Мой О'Брайен, конечно, не знал, что это — не я придумал.

Сейчас 1982-й год. Я не стал охотником за микробами и, конечно, не стал невидимкой. Я так и не побывал на Острове Диких Кошек. Из того, о чем я мечтал в детстве, читая книгу, не исполнилось ничего. Однако мне в полной мере досталось то, о чем я отнюдь не мечтал: я почти полностью идентифицировался с неприглядным миром красной „пингвинки“. Спрашивается, что еще ожидает нас из того, что предсказано в этой удивительной книге? Ах да, сверхдержавы не ведут открытой войны. Пока.

СХОДСТВО

Житель Восточной Европы, родившийся там и переживший все „победы“ и поражения реального социализма, читая „1984“, встречает поразительные детали сходства, а Лондон романа сливается с образом родины. Ошеломление от удивительной схожести художественного произведения почти сорокалетней давности с самой современной современностью сначала подавляет все остальные впечатления читателя. Но это — удивление другого рода, чем при чтении старых фантастических романов. Читая роман Жюль Верна, в котором господа во фраках путешествуют на Луну в пушечном снаряжении, мы умиленно улыбаемся и сравниваем все это с осторожным прыжком Н. Армстронга на лунную поверхность. Мы сознаем, что фантазии старых авторов сбываются и выдуманное приключение кажется нам интереснее, чем прыжки американцев по пустынной Луне.

У Орвелла все по-другому. Сходство с действительностью действует как психический шок. В этом вовсе нет ничего забавного или приятного. Пророческая точность книги вызывает у нас невыразимые чувства. Мною каждый раз овладевает какое-то оцепенение, когда я, читая, натыкаюсь на знакомые мне ситуации или описание среды, в которой я побывал вчера. Это оцепенение сходно с чувством, охватывающим нас, когда мы входим куда-то, где мы никогда не бывали, и вдруг нам кажется, что мы видели эту комнату, или участок леса и ручей, или море, бьющее о скалы волны, — нам кажется, что мы были здесь когда-то, может быть, во сне или в прошлой жизни. Это — невозможно, но нам все-таки кажется, что мы узнаем уже виденное, что мы слушаем голоса, уже слышанные, видим знакомые лица. Это необъяснимое ощущение чего-то давно знакомого чувствуешь с первой страницы фантастической истории 1984 г. Уинстон возвращается домой с работы, и нам кажется, что он сошел с того же автобуса, что и мы, и идет перед нами.

Пригнув подбородок к груди, чтобы укрыться от обратительного ветра, Уинстон Смит быстро проскользнул в стеклянные двери Особняка Победы, не успев, однако, помешать вихрю песчаной пыли ворваться следом.

*В коридоре пахло вареной капустой и старыми половиками. В конце коридора висел разноцветный плакат, казавшийся слишком большим для того, чтобы вывешивать его в помещении. Он изображал громадное — более метра в ширину — лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и с грубо красивыми чертами. Уинстон стал взбираться по лестнице. Нечего было и думать о лифте. Даже и в лучшие времена он редко работал, а теперь электрический ток днем вообще не подавался. Это было частью режима экономии, которым отмечалась подготовка к Неделе Ненависти... Ниже, на уровне улицы, другой плакат с порванным углом судорожно полоскался по ветру, то открывая, то закрывая единственное написанное на нем слово: АНГСОЦ. Воали, между крышами, плавно скользнул вниз вертолет, повис на мгновение в воздухе, словно синяя мясная муха, и опять устремился дальше в кривом полете. Это полицейский патруль подглядывал в чужие окна...**

Я не знаю, где Орвелл увидел место, послужившее образцом для Особняка Победы. Может быть, это были жилые дома в бедном Истсайде. Но я знаю, что во времена Орвелла во всей Восточной Европе, а тем более в СССР, поселков, построенных из бетонных блоков, не было. И все же Уинстон возвращается именно в такой дом, в каком живу я, в жилой квартал, в строительстве которого я, будучи рабочим, участвовал многие годы. Когда я читал „1984“, в нашем доме тоже не работал лифт, а подвал был залит вонючей водой, в которой плавали крысы. Правда, со стен и многочисленных портретов на нас уже не смотрит Старший Брат, его глаза не преследуют гипнотическим взглядом каждого гражданина. Но я помню времена, когда он на меня смотрел, где бы я ни был. Мы все знали его лицо, лучше, чем лицо родного брата. До сих пор на нас с картин смотрит и его предшественник. Его взгляд устремлен куда-то вдаль, как будто его вовсе не интересуют мысли и деяния людей, живущих в его осуществленной мечте.

* Джордж Орвелл, „1984“, Stampato in Italia, Litostampa Nomentana ROMA, стр. 3—4.

Но лозунгов, написанных на красном полотне, везде полно. Они также не имеют никакого отношения к обыкновенной жизни людей, как лозунги на огромном здании Министерства Правды, которые читал Уинстон.

Куда ни придешь, куда ни глянешь, все, что слышишь по радио и по телевидению — все напоминает Лондон „1984“-го. Когда я, бывало, присутствовал на каком-нибудь собрании против Евразии или Истазии, у меня было такое ощущение, будто Уинстон стоит рядом со мной и мы оба восторгаемся торжественным уткомольем оратора, этим удивительным шурианием фраз сотни раз повторяемой лжи. Мы оба всматриваемся в лица вокруг себя, ища хотя бы тень ужаса, ощущаемого нами, но видим лишь равнодушие и апатию, тренированную способность не слышать, ничего не воспринимать и витать в каких-то личных мыслях и заботах.

Расходы на полицейские вертолеты, видимо, слишком велики, чтобы использовать их в массовом порядке для подглядывания в окна квартир. Но кто знает? Однажды я сидел с друзьями в саду деревенского дома, и над нами несколько раз пролетел вертолет. Пани М. сказала: „Это они!“, имея в виду Полицию Мысли. Остальные не были в этом уверены. Нам казалось невозможным, что полиция таким дорогим способом выясняет, пьем мы кофе, чай или вино. Но если бы с нами сидел Уинстон, он не сомневался бы ни минуты.

Слава богу, до сих пор не придумали телескрин, по которому, транслируя, скажем, утреннюю зарядку, в то же время получали бы кадры из квартир. Но состояние техники слежения и преследования находится на достаточно высоком уровне, чтобы полностью испортить людям жизнь. Я всегда горячо сочувствовал Уинстону, когда он искал хотя бы малюсенькую нишу в стене, где бы он был невидим телескрину, или уголок в лесу, находящийся вне радиуса действия аппаратуры подслушивания. Я знаю радость подлинного уединения, когда слова могут достигнуть слуха лишь того, кому они действительно предназначены...

Во всем этом я и Уинстона прекрасно понимал. А он, в свою очередь, тихо и с пониманием кивал головой, когда кто-нибудь из моих знакомых мычал так, что нельзя было ничего

разобрать, или когда мне совали бумажки с краткими сообщениями, поднимая глаза к потолку, как будто оттуда должно было торчать подслушивающее ухо Полиции Мысли.

Что же удивительного, что при таком совпадении реалий Уинстон Смит стал мне родным братом? Мне даже казалось, что за всем этим скрывается какая-то литературная магия, особенно когда я осознал, что в книге Орвелла меня волнует сходство не только быта и ситуаций, сколько хода моих и Уинстона Смита мыслей, почти полное отождествление интеллектуальных и эмоциональных реакций на окружающий нас мир. Это ощущение тождественности вовсе не было приятным, оно порождало глубокое беспокойство, ощущение иррациональности. Я не мог поверить, что англичанин Джордж Орвелл, биография которого столь отлична от моей, написал эту книгу для меня; что он таким странным образом вознамерился передать мне сугубо личное послание и по доброте сердечной предостеречь меня.

Я рос в мире запрещенных книг, в мире с измененным прошлым и с вездесущей индоктринацией, ничего не зная о судьбе Уинстона. Однако, как и он, я был во власти мучительной страсти — я искал скрытые тайны прошлого, расшифровывал замаскированную ложь; я облюбовал себе образ мысли, который в тоталитарной системе приводит к неприятностям. Когда я позднее прочитал „1984“, у меня сразу появилось ощущение дружеского доверия, как на тайных встречах, когда достаточно нескольких взглядов и слов, чтобы определить, кто есть кто. В то время я уже был взрослее и опытнее, быть может, я мог бы кое-что посоветовать Уинстону.

Мы сблизились, идя друг другу навстречу. Наши сомнения начались одинаково. Уинстон, конечно, не помнил великой революции, в 1984 г. ему должно было исполниться только 39 лет. Значит, он намного моложе нашего поколения, в молодости участвовавшего в великой революции. Я помню, как все началось. Я помню крушение старого мира и соблазн зари надежды, обещавшей исправить все ошибки, совершенные человечеством. Верить гораздо проще, чем сомневаться, — и я поверил.

Но вскоре после великой победы революции мне перестали нравиться некоторые присущие ей черты, например, Недели

Независти. Они происходили тогда во время больших процессов над врагами народа. Телевидения еще не было, ненависть исходило радио. Я не видел лиц предателей, а только слышал их безжизненные голоса. Я тогда ничего не знал о „Двух Минутах Ненависти“, но меня, как и Уинстона, приводила в ужас неистовость толпы. Я так же ощущал свою отчужденность и одиночество. Эта трезвость ума вселяла в меня страх и предчувствие, что все это плохо кончится. Я еще не был знаком с Уинстоном, но у нас обоих отсутствовала способность приспособляться — и это нас сближало.

Позже мне казалось, что рассказ об Уинстоне Смита — примитивное пособие на тему „познай самого себя“. Я все понимал. Я понимал волнение Уинстона в момент, когда ему кто-то сунул в руку портфель с таинственной рукописью. Я понимал его возбуждение, когда он спешил в свое убежище над лавкой старьевщика, чтобы, наконец-то, открыть книгу и увидеть первое слово правды. Я в своей жизни открывал целый ряд таких книг, и вскоре как и Уинстон понял, что они лишь подтверждают то, что я уже давно знал. Я помню, как меня ошеломило, когда и это утверждение я прочел черным по белому у Орвелла: Уинстон, прочтя первые страницы книги Гольдштейна, минуту задумывается:

„Книга пленила его или, точнее, укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но несравненно более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. Лучшие книги те, — подумал он, — в которых говорится о вещах, уже знакомых вам“.*

С близким, или, как говорится на здешней новоречи „родным“, товарищем Смитом меня объединяло еще одно обстоятельство. Оба мы в детстве жили в старое время, которое было

* Упомянутое издание, стр. 198.

проклято, но всплывало в памяти в особом счастливом освещении, хотя и было как бы преломленным через слой зеленой воды. Оба мы, однако, этим старым воспоминаниям не совсем доверяли, потому что молодость очень уж искажает образ мира. Что касается осознания прошлого, я был, конечно, в гораздо лучшем положении по сравнению с Уинстоном, ходившим по кабакам, чтобы выудить из памяти ветеранов в конце концов не слишком ценные и бессвязные воспоминания. Я мог читать старые книги. И чем больше я их читаю, тем мне становится грустнее, потому что я, как и Уинстон, прихожу к выводу, прямо ужасающему своей простотой: что в прежние времена было больше свободы и уважения к человеку.

Сознание того, что после всех усилий мозга приходишь к такому тривиальному выводу, конечно, удручающе. Это сознавал и Уинстон. Мы оба, собственно говоря, всю жизнь искали забытые слова, как если бы в них были скрыты все тайны. Вероятно, так оно и было. Наше приключение состояло в том, что мы с риском открывали то, что уже давно было открыто.

ЭРИК БЛЭР И ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ

Всех увлеченных книгой Орвелла здесь, в Восточной Европе, вероятно, удивляет, что ее смог написать англичанин, человек совершенно другого мира. И как он мог вдобавок написать эту книгу в 1947–1949 годах? Как мог этот англичанин, живший не среди нас, а в Бирме и в Англии, предсказать мир, который, если не произойдет чуда, скоро будет почти совпадать с действительностью? Насколько я знаю, Джордж Орвелл никогда не перешагнул границы первого в мире социалистического государства, никогда не перешагнул границы стран народных демократий и никогда не испытал страха, опутывающего граждан укрепившихся диктатур. Как же он мог в истории Уинстона Смита описать положение человека, совпавшее тридцать лет спустя с судьбами реальных людей?

В литературе это, конечно, случается. Вымышленные судьбы перешагивают с судьбами живых людей. Обычно, однако, это бывает истории в рамках обыкновенных человеческих жизней. В данном же случае это история, тесно связанная с конкретной

политической и социальной действительностью. Как же это случилось с книгой, являющейся, в довершение всего, видением будущего?

Эти вопросы мучили меня. Как потаенный и страстный читатель научной фантастики я, конечно, нашел целый ряд объяснений этим загадкам. Например, скажем, что „1984“ написал какой-то писатель из Восточной Европы, предположим, в конце семидесятых годов, не как утопию, а как роман-гиперболу с современной тематикой. Он ловко замаскировал все английским копоритом, чтобы Полиция Мысли не могла найти автора. Потом люди из будущих тысячелетий, путешествовавшие во времени, отняли книгу у автора и подусунули ее в 1949 г. Джорджу Орвеллу. Может быть, они надеялись, что таким образом книга лучше выполнит свое назначение предостережения. Ведь в одной книге Исаака Азимова Ферми подобным образом узнает о возможности производства атомной бомбы. Это объяснило бы все сразу. Но такое объяснение никто не примет, оно слишком безупречно.

Конечно, должно было существовать другое объяснение, менее фантастическое, более близкое к действительности. Я искал такое объяснение в каждой статье или книге об Орвелле, которые, несмотря на самые различные препятствия, попадали в Чехословакию. Я скептически искал рациональное объяснение пророческих способностей автора в фактах его жизни и духовного развития.

Биография Эрика Блэра не лучшее доказательство тезиса, что каждое литературное произведение является, в конечном счете, свидетельством жизни самого автора. У Уинстона Смита, например, нет никаких биографических черт, общих с Эриком Блэром, или — самые отдаленные.

Эрик Блэр родился в Индии в 1903 г., и, если бы он дожил до своей магической даты, ему был бы 81 год. Уинстон был, таким образом, на 42 года моложе. Биография Блэра—Орвелла столь типично английская, что она для меня совпадает с судьбами героев английских романов эпохи короля Эдуарда. Отец Эрика Блэра — английский колониальный чиновник, познакомился с матерью, француженкой по происхождению, в Индии, где он остался и после переезда семьи в Англию. Семья Блэра

была типичной для английских средних слоев. Они жили в провинции (в Оксфордшире и Саффолке), и места из „1984“, полные поэтической ностальгии, для Орвелла столь необычной, где Уинстон вспоминает мать и пейзаж своего детства, возможно, являются трепетным воспоминанием о сумерках в английской деревне.

„Внезапно он оказался на лужайке, поросшей короткой упругой травой. Был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Пейзаж, растлавшийся перед его взором, так часто являлся ему во сне, что он никогда не мог вполне уверенно сказать, видел он его в жизни или нет. Мысленно, наяву, он называл его Золотой Страной. Это было старое, погравленное кроликами пастбище, с бегущей по нему пешеходной тропинкой и с кротовинами то тут, то там. На противоположной стороне, за неровной живой изгородью, кущи вязов слабо покачивались под легким ветерком, шевеля густой массой листьев, словно космами женских волос. Где-то рядом, хотя и невидимый, медленно струился чистый поток, и в заводях его, под явами, играли ельцы.*

В такой местности течет и речка Орвелл, название которой стало псевдонимом Блэра. До момента своего перевоплощения Блэр был типичным молодым человеком из хорошей английской семьи. Он учился в частных средних школах в Веллингтоне и Итоне, что представляло странную подготовку к „1984“. Еще более странной подготовкой была служба в имперской полиции в Индии, где Блэр служил несколько лет, после чего он вернулся в Англию. Странно видеть автора „1984“ на фотографии в полицейской форме.

Гораздо логичнее развивалась жизнь Блэра с точки зрения подготовки к созданию мастерского произведения в Англии с 1928 года. Блэр начинает зарабатывать на жизнь как независимый писатель, эссеист и романист, и ему приходится напрягаться. Он интенсивно следит за бурным политическим и со-

* Упомянутое издание. Стр. 31.

циальным развитием, в результате которого Европа приобрела современный облик. Эрик Блэр становится Джорджем Орвеллом, наблюдая вблизи на европейской политической сцене анимиз 1984 года.

В тридцатые годы человек столь интеллектуально активный, как Орвелл, вероятно, просто не мог остаться в стороне от всеувлекающего водоворота основополагающих идей того времени, обещавших тысячелетнюю империю или чудесное будущее людям во всем мире. Достаточно было присмотреться к тому, как жили европейские народы, чтобы понять небывалое значение идеологий. В Советском Союзе началось строительство социализма в романтических одеждах первой пятилетки, нацизм удивлял порядком и готовил для мира военные испытания. В остальных странах Европы резкая граница проходила через народы, делая их фанатичными сторонниками различных политических идей. В Испании как раз из-за идей шла гражданская война. Бывший итонский студент стал в этом бурном мире социалистом, сторонником равенства и страстным противником фашизма.

Орвелл уехал в Испанию добровольцем, воевал, был ранен и, несомненно, опыт испанской гражданской войны оставил в нем глубокий след, дав ему заглянуть за границу чистых идей, в мир человеческих ситуаций, где решающую роль играет элементарная человеческая мотивация жизни или смерти. Идейная основа „1984“ и еще больше — идейная основа „Фермы Энимал“* возникли под влиянием встречи с испанским анархистским движением, в отрядах которого он воевал. Острота противоречий в испанской гражданской войне, фанатизм, с которым боролись друг против друга разные социалистические движения, содействовали созданию образа будущей идейной жизни Океании.

Ряд зловещих событий, непосредственно предшествовавших второй мировой войне (а они неизбежно должны вызывать ощущение полной беспомощности разума перед лицом укрепившейся власти), например, московские процессы, захват

* Ферма Энимал, Изд-во „Проблемы Восточной Европы“, Нью-Йорк, 1986 г.

нацистами Австрии, мюнхенское соглашение, финско-советская война и раздел Польши — все это углубило скептическое отношение Орвелла к идеологической интерпретации мира. Этот скепсис, а также, бесспорно, презрение к человеческому роду, не способному извлечь уроки из своего опыта, вероятно, усиливала болезнь Орвелла — затяжной туберкулез, помешавший ему участвовать в мировой войне. Он был осужден наблюдать издали гибель, к которой по собственной вине влеклись почти все страны мира. Орвелл уже тогда созрел настолько, чтобы видеть зло во всякой тоталитарной идеологии и отвергать ее. Поэтому он начал писать в 1943 г., в самое неблагоприятное с политической точки зрения время „Ферму Энимал“. В свое время эта книга воспринималась как антисоветская и неудивительно, что в Англии до 1945 г. для нее не нашлось издателя. Сегодня, читая эту книгу внимательнее, мы понимаем, что автор смотрел глубже, проникая к корням политической извращенности, к которой скатывается почти каждое революционное движение, замкнутое в тотальной монолитной идеологии.

Орвелл пошел в эти годы гораздо дальше, чем другие, он не поддавался эйфории послевоенного оптимизма, вере в перспективы прочного мира. Несмотря на все футурологические заклинания, которые не обошли Англию, в 1947 г. он начал работать над своим самым большим романом — „1984“. В это время он был уже тяжело болен. Быть может, предчувствие близкого конца окрашивало в мрачные тона картину будущего мира. Вероятно, именно поэтому он оказался бесконечно ближе к действительности, чем все эти организованные сверху конгрессы ученых, работников искусства, защитников мира и других групп интеллектуалов, которые охотно избавлялись от своих страхов на массовых митингах с флагами, знаменами и скандированием лозунгов. И тогда, конечно, были пропагандисты, которые как и сегодня характеризовали точку зрения Орвелла как банальную готовность услужливо поддержать изощренным литературным произведением выступление Черчилля в Фултоне. Но сегодня очевидно, что „1984“ — не пропагандистская брошюра, а одна из самых замечательных книг XX века, что подтвердили прошедшие годы и подтверждает современность...

Как история Уинстона Смита сформировалась в уме Орвелла, откуда она взялась, что дало ей первый импульс? Этим

вопросом задавались многие, у кого были лучшие, чем у меня, условия для таких изысканий. Многие мучались над тем же вопросом, что и я, не приняв фантастическое объяснение, предложенное мною. В литературе об Орвелле собрано много доказательств, что произведение это не было результатом мгновенного озарения, что, наоборот, его структуру объясняет ряд драматических моментов жизни Орвелла, его борьба за осмысление европейского безумия тех лет, но что здесь сработало и художественное вдохновение. Но нам, на Востоке, и после этого не все будет ясным.

Мы вынуждены признать, что Орвелл был человек знающий, страстно интересовавшийся мировыми событиями. Он, несомненно, много знал о происходившем в Советском Союзе, был знаком с эмигрантской литературой, которая, однако, тогда не была столь обширной, как сейчас, и не имела такого авторитета, как ныне. Он, наверняка, слышал много рассказов, может быть, читал книгу Кравченко „Я выбрал свободу“, изданную в Англии именно в 1947 г. (мимоходом замечу, что это — лишь тень более поздних публикаций).

Я всегда отдавал себе полный отчет в том, что Орвелл импонирует мне не только творческой гениальностью, но и ясными, четкими идеологическими выводами, которые он сумел сделать из шумных и соблазняющих выкриков на идеологическом рынке времени его жизни. Когда я в молодости искал собственную ориентацию, искал что-то прочное, ясное, я наталкивался на скрытность, робость, двуличие и теологические аргументы авторитетных мыслителей и писателей. Мне сказали, что Анре Жид написал всю правду о своем посещении СССР. Я с жадностью набросился на эту запретную книгу, но ничего особенного в ней не нашел. Если это — неприкрытая правда, подумал я, тогда будущее — на стороне советской идеологии. И в дальнейшем я слышал наполненные верой и благожелательностью высказывания таких людей как Рассел, Арагон, Сартр, Шоу, Пабло Неруда, и мои любимые американцы, не говоря об итальянских режиссерах удивительного нео-реализма. Одним словом, в каждой стране был какой-нибудь лауреат Нобелевской премии, великан духа, который не желал слышать о жизни и приключениях Уинстона Смита. Когда я вспоминаю об этом,

у меня возникает ощущение, что Министерство Правды надежно работало во всем мире, и многие его видные сотрудники занимались маскировкой действительности добровольно и с энтузиазмом. Сколько всем им пришлось писать оправданий и выступать с самокритикой! Какими дураками оказались они перед публикой! А после них появилось еще одно поколение дураков, к которому принадлежу и я.

Конечно, не каждое слово, написанное Орвеллом, подтвердилось. Но он возвышается над всеми своей прозорливостью, и мы жалеем, что люди были неспособны принять столь ясное и лаконичное предупреждение. Таким представляется мне произведение Орвелла много лет спустя. Для меня оно — большой триумф интеллекта, точной ориентации в идеологических джунглях, и лишь затем триумф литературный. У Орвелла не было каких-то преимуществ в исследовании этих джунглей по сравнению с другими, и меня не перестает удивлять, как рано и в каких неблагоприятных условиях он сумел сориентироваться. Нужно к тому же принять во внимание, что он рассматривал положение не извне, а находясь в гуще перешептающихся „левых” течений, эти джунгли создававших.

Многое можно объяснить, не прибегая к утопии, согласно которой Орвелл — путешественник во времени. Известно, например, откуда непосредственно этот колорит достоверности, который как бы просвечивает мир в 1984 году. Известно, что основной сюжет романа Орвелла, и его герои и даже кое-какие подробности основываются на романе Евгения Замятина „Мы”. Орвелл знал этот роман, ценил его и заботился об английском издании.

С литературной точки зрения, „1984” — простое повествование, без художественных узоров. Здесь как будто все остальное неважно, значение имеет лишь интенсивность изображения, интенсивность болезненных впечатлений и волнующий аромат мысли, стремящейся добыть хотя бы толику правды, даже ценой жизни. „1984” — это книга, написанная вблизи смерти, это видно.

ПОИСКИ ПРАВДЫ, ПОИСКИ ПРОШЛОГО

Орвелл одарил Уинстона Смита профессией, лучше которой ничего придумать невозможно. Он сделал его чем-то вроде реставратора прошлого, фальсификатора осколков истории — небольшим винтиком огромной машины, приспособляющей прошлое к настоящему в духе последнего партийного тезиса: „Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым”.

Может быть, где-нибудь в мире косметическая работа Уинстона — небольшие изменения, которые он вносит в старые выпуски „Таймс”, чтобы они соответствовали последним установкам и было бы невозможно доказать, что государство лжет, — воспринимаются как курьез, как забавное преувеличение. Может быть, где-нибудь в мире люди думают, что не столь уж важно, чтобы государство признавало свои ошибки. Только мы, в Восточной Европе знаем, как это важно, потому что идеология — как большое зеркало: достаточно небольшой трещины, и уже в нем строит рожи действительность, заменяющая сказку.

Орвелл знал это до нас, и поэтому заставил Уинстона играть жалкую роль мелкого фальсификатора прошлого, наделив его при этом страстным стремлением к правде. А мы, читатели, можем следить за расколом сознания Уинстона, за утомительной борьбой с покровами лжи, искусно развешанными там, где мог бы открыться многообещающий вид. Таким образом, Уинстон стал нашим современником в своем унижении и беспомощности, в своем страхе перед правдой, прорывающейся на поверхность, и восторгом перед небольшими открытиями правды — одним словом, тем, как он дополз к ней сам, буквально на четвереньках. Открыв лишь пару тривиальных истин, он был раздавлен Партией за это, как насекомое. Его открытия ничтожны и не имеют значения, но его давят, потому что своими поисками он представляет „отклонение от эталона”. Но он вызывает симпатии читателя именно потому, что представляет собой „отклонение от эталона”, что ему свойственны простые человеческие черты — любопытство, здравый смысл и порядочность.

Уинстон меня всегда глубоко трогал именно в этом качестве. Меня трогали те места книги, где Уинстон, как цыпленок, клюет скорлупу лжи, окружающей его, и сквозь крохотную дырочку старается увидеть неизвращенное прошлое, хотя бы в общих чертах понять, как все произошло, как выглядела действительность до того, когда Министерство Правды переделало ее.

Он, действительно, не знал покоя, он всюду искал историю. Он — фанатик истории, принужденный жить в обществе без истории. Вернее, без подлинной истории, с историей, выведенной из настоящего, в соответствии с интересами этого настоящего.

„Все, что происходило до конца пятидесятых годов, поблекло. Когда нет внешних регистраторов событий, с которыми можно сверяться, даже контуры собственной жизни теряют отчетливость. Вспоминаются грандиозные события, которых, может быть, вовсе и не было; вспоминаются детали происшествий, но общего духа времени почувствовать уже больше нельзя: наконец, имеются периоды, вообще не отмеченные в памяти ничем“.*

В этой сцене утреннего мучения он — гораздо более трогателен и убедителен, человечен, чем, например, в любовных сценах с Юлней. Кто из нас не испытал минуты утреннего заторможения реакций, замедленности и отупелости, когда тебе в голову лезут именно такие настойчивые мысли. Они как слепня, как кроважидное насекомое, которое присосется и, раз уж сосет кровь, может дать себя в такой момент убить. Окружающие не понимают, почему ты брюзжишь, почему ты с утра в отчаянии по поводу мира, его прошлого и настоящего, лжи и правды — вместо того, чтобы быстро выпить чай, как следует повязать галстук и мчаться на трамвайную остановку. Однако мысли Уинстона даже в замедленном ходе утренних раздумий подобны ракетам, выстреленным из пистолета. Это — сигнальные выстрелы, старт к умственным приключениям, продолжающимся в течение дня.

Когда нас окружает ложь, мы, конечно, обращаемся к прошлому, потому что в прошлом мы чувствуем опору: то,

* Упомянутое издание. Стр. 33.

что сделано, сделано. Разумеется, нас интересует, почему из прошлого изъято то или другое событие, кому оно мешало. Поколение, к которому принадлежу я, знает это по собственному опыту. Мысль Уинстона, которую я привел, можно отнести и к нам — может быть, даже датой, перенесенной, скажем, к началу 50-х годов. Мы помним, как все это происходило, но очертания событий уже утратили ясность. Однако я много раз убеждался в том, что следующее поколение помнит события, никогда не происходившие, сохраняет в памяти вымышленные официальные версии, какой-то суррогат прошлого. О 50-х годах второе поколение узнает... собственно, не узнает абсолютно ничего, потому что это — годы без значительных и грандиозных свершений, так что в календаре нет славных годовщин и праздников. Это годы, подобные всем остальным: люди рождались, женились и умирали; некоторых повесили, а другие на их беде построили свою карьеру. Для идеологического настоящего эти годы не имеют значения, поэтому они осуждены на забвение. Мы все живем в искусственно созданной внеисторичности.

Это хорошо придумано, потому что в этой внеисторичности человек вскоре начинает сомневаться в самом себе — в точности своей памяти, в подлинности своих собственных впечатлений и в подлинности того, что он видел собственными глазами и слышал собственными ушами. С экрана нам говорят, что мы никогда не были так свободны и защищены от опасностей, как сейчас. Люди не могут припомнить, как же все было на самом деле. Они не уверены, легенда ли это, или действительно были времена, когда на границе не было колочей проволоки и сторожевых вышек. Такие факты не припоминаются, так же как многие другие. О них молчат, чтобы не забыть. Эта внеисторичность навеивает уныние, а когда все это вспомнишь рано утром, начинается тошнота и не хочется завтракать.

Раздумья, в которые погружается Уинстон и все мы, это не мания, это — просто акт самосохранения, защита перед тотальной дезинтеграцией, попытка сохранить человеческое достоинство. Нигде в мире история не имеет такого значения, как в Восточной Европе. Мало кому Министерство Правды уделяет такое внимание, как историкам.

В течение многих лет я задавал себе вопрос Уинстона:

откуда в интеллектуальном маразме нашей общественной жизни и формирования образа мыслей взялась эта утонченная и продуманная концепция внеисторичности, кто исследовал и оценил ее эффективность, ввел ее постепенно в практику во всем блоке государств? Или это — не продуманная концепция, а лишь простое вранье преступника, заметающего следы? Вероятно, концепция присвоения прошлого и его полного подчинения настоящему вышла непосредственно из мастерской Старшего Брата И. В. Сталина, вовсе не глупого человека. В конце концов, он сам освятил эту концепцию, написав историю партии и конкретно показав, как надо идти по пути к внеисторичности. Прежде всего — совершенно бессовестно! И раз уж была создана концепция, не трудно было снова и снова ей следовать, потому что она оказалась необычайно эффективной для укрепления власти. Против нее стояла лишь историческая правда — смехотворный враг, если иметь в виду, что в распоряжении этой правды нет ни одного хотя бы небольшого отряда полиции.

Эти мои рассуждения могут вызвать впечатление, что я был умнее Уинстона, что в поисках прошлого я шел более прямым путем и решительнее, чем он. Эта разница, однако, связана с разницей условий. Действительно, препятствия в исследовании прошлого в наше время никогда не достигали такого совершенства, как в 1984 г. у Уинстона. Эти препятствия можно было обойти, осторожно раздвинуть занавес лжи. Сегодняшний уровень познания нашего поколения — результат долголетней медленной реконструкции прошлого. Я сам уже не знаю, что в ходе этой реконструкции играло главную роль — собственные ли воспоминания, вера в то, что я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, или же мысли и события, описанные в подозрительных и запрещенных книгах. А может быть, на меня подействовали рассказы тех, кто помнил гораздо больше меня и был готов говорить охотно и без предвзятости в отличие от старика, у которого Уинстон старался вытянуть хоть что-нибудь. Могу сразу добавить, что с такими людьми я встречался не часто и вообще их было немного. Я помню, однако, что меня волновала каждая встреча с правдой о прошлом, с теми, кто был вычеркнут из истории и вдруг выплыл, с живыми существами, связанными с событиями, о которых я ничего не

знал и которые вдруг выступили из сумерек со своей неповторимой атмосферой. Просто мне повезло больше, чем Уинстону.

Я должен, однако, признаться, что сначала я не хотел верить, что вся эта грандиозная работа по фальсификации истории, в которой участвовали научные институты, университеты, уважаемые люди — академики и профессора, шла с ясным сознанием обмана, лишь как простая реализация лозунга: „Кто управляет настоящим, управляет и будущим...“ Как во многих других случаях, мне было бы приятнее, если бы все это было результатом слабости ума, результатом слепоты, которой боги наказали человека, чтобы он не раскрыл все тайны своего создания и цели своего пребывания на земле. Одним словом, мне казалось более достойным человека не видеть правду, чем явно лгать. В молодости я не умел себе представить, что носители власти могут действовать так низко и примитивно, подчинить историографию узким интересам власти — ведь в истории это было столько раз дискредитировано. И все же дело обстояло именно так. Я постепенно узнавал, что софистика классового понимания истории, софистика правды, подчиненной цели и не всегда тождественной очевидной правде, и вся остальная нарядная упаковка — все это было уже вторичным продуктом стараний интеллектуалов. Они заботились о том, чтобы все это не звучало так ужасно: что историографии почти не нужны факты, кроме, может быть, самых важных дат, и что история нам нужна просто лишь постольку, поскольку существующая власть может на нее опираться, выводить из нее легитимность. Все мои исследования привели, наконец, к лапидарному выводу, который партия в книге Орвелла провозглашала открыто и искренне: „Кто управляет...“ Все предельно ясно и просто.

Но так уж получается. Нам трудно признать, что в наше время, когда для изучения всего, что касается людей, мы имеем научно-исследовательские институты, штабы экспертов, международные съезды и вообще всю благородную науку, что именно в этой науке, верной эпохе, целые штабы экспертов и научно-исследовательские институты послушно начинают фабриковать ложь, буквально создавая новую историю по желанию заказчика. А заказчик — это государство и его представители, причем эти последние, платя за такую службу, обеспечивают ход этой

государственной науки. Я не хотел все это признать, я убеждал себя в том, что это — невозможно, что все лишь кажется таким примитивным, а главная причина лжи и умалчиваний состоит в том, что изучение истории необычайно трудно, что у нас никогда нет достаточной дистанции, чтобы понять события четко и правильно, потому что обыкновенная правда, на которой люди сошлись бы, была бы лишь конвенцией — и что, таким образом, историческая правда людям вообще недоступна, подчиняясь лишь богу.

Орвелл вылечил меня от этой софистики. Все дискуссии о новой и новой переоценке прошлого, которые когда-либо велись, или, возможно, все еще ведутся, являются лишь постыдной попыткой официальной историографии прикрыть совершенно примитивный и явный приказ власти — излагать историю так, чтобы она была основой настоящего; а в следующий раз историю будут излагать, быть может, иначе, смотря как нужно будет. Если когда-то кто-то и сомневался в том, что положение вещей именно таково, то эти сомнения рассеялись в Чехословакии во время так называемой нормализации, когда все историки, отказавшиеся принять игру со столь простыми правилами, были изгнаны из институтов и заменены людьми, которым никакие моральные предрассудки не мешали переписывать историю заново...

Каждый историк старше тридцати лет помнит ниспровержение идиологов, эксгумацию трупов и объявление их блаженными; помнит время, когда черные ямы истории стали заполняться — живыми и мертвыми, протягивавшими руки и вопрошавшими, что будет с памятью о них, с их жизнями, отброшенными во внеисторичность, или, как до сих пор говорят, на мусорную свалку истории. А кто постарше, помнит сенсационные разоблачения, прозвучавшие с трибуны XX съезда КПСС, когда страна сотрясалась под пирамидой лжи, когда казалось, что изощренная конструкция лжи о прошлом навсегда скатится в пропасть. Я был очевидцем последствий такого разрушения лжи. И все-таки все это снова и снова повторяется. Сегодня меня это не так раздражает, потому что Орвелл познакомил меня с лозунгом партии, который все еще засекречен. Все это происходит ради того, чтобы прошлое полностью сплелось с настоящим.

В современном понимании история — лишь пьедестал, на котором покоится нынешняя власть. Дело лишь в том, чтобы приспособить этот пьедестал к настоящему по величине и по форме. Чем больше и монументальнее пьедестал, тем больше он нравится правителям. Все это слишком ясно и очевидно. Беда историкам!

В „1984” внеисторичность была доведена до совершенства. Массы пролов не знали об истории практически ничего, а члены Внешней Партии вынуждены были довольствоваться видоизмененной историей. Орвелл не оставляет сомнений в том, что эта изощренная ликвидация исторической памяти не самоцель, а производится лишь постольку, поскольку это лучшая профилактика против любой попытки сопротивления. Люди без исторической памяти не могут сопротивляться, потому что у них нет возможности сравнить данное положение с чем бы то ни было другим, поэтому все довольны.

Интересно, что я нашел ту же мысль в книге киргизского писателя Чингиза Айтматова „И дольше века длится день”. В повести, изданной в 1981 г., Чингиз Айтматов рассказывает старую легенду о рабах без памяти. В ней говорится о кочевниках, которые особым способом превращали своих пленных в рабов. Молодых мужчин брили и обвязывали голову ремнями из кожи свежееубитого верблюда. Потом этих несчастных оставляли несколько дней на горячем степном солнце. Кто выживал после этого, становился манкуртом — рабом без памяти. Он не помнил, откуда он, где родился, кто были его отец и мать. Такой раб без памяти стоил в десять раз дороже обычного.

* *
*

В начале 80-х годов сформировалось поразительное совпадение в рассуждениях, характерных для доброй половины земного шара. В легенде, рожденной в казахской степи, звучит явное предупреждение об опасности потери исторической памяти, как и в романе, место действия которого — Лондон, основанном на совершенно других исторических, культурных и литературных традициях. На пороге магической даты это совпадение обнадеживает.

Уинстон был, конечно, лишь рядовым сотрудником Министерства Правды. Он видоизменял прошлое по приказу сверху, не зная, почему начальству заблагорассудилось изменить ту или иную подробность. Его лучший трюк — создание никогда не существовавшего товарища Огилви. У нас, конечно, предугадали бы товарища Уинстона Смита, что опасно проявлять свои способности, фантазию и оригинальность мысли, потому что всякая тоталитарная власть убеждена, что фантазия, особые способности и оригинальные мысли в конце концов обернутся против нее. Уинстон за эту краткую вспышку гордости и честолюбия дорого заплатил... Орвелл описал этот феномен замечательно...

Некоторое время я был таким же поденщиком в Министерстве Правды, и я знал людей, которые старались сделать из лжи и умалчиваний, по крайней мере, интересную работу. Поскольку им было противно врать примитивно, на уровне лекторов районного масштаба, они лгали элегантно. Эти люди ценили формальное совершенство лжи, они доводили ее до такого блеска, что, наконец, она казалась им если не столь уж благородной, как правда, то, по крайней мере, интересной с формальной точки зрения и достойной внимания как умственная конструкция. Орвелл предвидел, что таким образом можно создать самостоятельный мир, подделку подлинного мира, и этот вариант нужно постоянно поддерживать, чтобы он не распался. Но в этом-то как раз и состоит интерес. Если удастся войти в искусственную конструкцию достаточно глубоко, абстрагировавшись от подлинного мира, то в этом искусственном слепке оказывается достаточно проблем, решая которые можно получить удовлетворение от умственных усилий, необходимых для сохранения этой хрупкой конструкции.

В таком существовании, конечно, много скрытых опасностей. Элегантная форма плохо переносит грубую ложь. Тут легко ошибиться, случайно подойдя к правде с обратного конца. Когда ложь слишком прямолинейна, может прозвучать легкая ирония. Однако ирония — ужаснейшее преступление, какое только можно совершить по отношению к Партии. Выполняя грубую работу, нельзя пользоваться точными и тонкими инструментами. В прошлом, сконструированном по-новому, Партия

любит четкую и ясную границу между хорошим и плохим; она не любит, когда события или исторические явления объясняются с оговорками или когда какие-то вопросы остаются без ответов.

Люди, пытавшиеся придать этой мясницкой работе интеллектуальный характер, всегда были априори под подозрением. Уинстон предсказал судьбу одного из них — Сайми:

„Был какой-то едва уповимый изъясн в Сайми. Чего-то ему не доставало: сдержанности, скрытности, чего-то вроде спасительной глупости. Нельзя сказать, что он уклонист. Нет, он верит в принципы Ангсоа, он благоговеет перед Старшим Братом, он радуется победам, ненавидит еретиков не только искренне, но с какой-то ненасытной яростью, и именно тех еретиков, которых надо ненавидеть по последним сведениям, недоступным рядовому члену Партии. И тем не менее, его верность Партии вызывает какие-то сомнения. Он говорит вещи, которых лучше было бы не говорить, он читает слишком много книг, он является завсегдатаем кафе „Под каштаном“ — излюбленного места художников и музыкантов“.*

Никогда позже, ни в какой другой книге, я не нашел столь увлекательного описания поиска прошлого и правды... Этот поиск оказывается столь волнующим только при диктатуре, где прошлое скрыто за завесами лжи. Он немного похож на детективное расследование.

Уинстон стоит перед очевидным противоречием между правдой и ложью. Это как в сказках: ложь — черная сухая старуха, а правда — белая сияющая принцесса. Он почти теряет сознание от волнения, когда находит в старой газете доказательство невинности человека, уже давно казненного за преступление, которое он не мог совершить, потому что находился в другом месте земного шара. Как и все искатели правды, Уинстон подвергался самообману, что явное доказательство лжи должно подорвать основу власти, опирающейся на ложь.

* Указанное издание, стр. 56.

Лишь в тюрьме он убедится, что правда — утешение для таких как он, но она ни в коем случае не является инструментом свержения власти. И это полезный урок.

Потребность Уинстона в правде — это потребность ребенка, но все больше и больше подтверждается, что именно на этой потребности зиждется мир... Поэтому, вероятно, будет все больше и больше Уинстонов, физически не переносящих ложь. Быть может, они решатся что-то предпринять; быть может, они найдут, как Уинстон, небольшую нишу, обмакнут в чернила перо и начнут писать:

*„Будущему или прошлому, — тому веку, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, тому веку, когда существует правда и то, что сделано — то сделано...“**

АНГСОЦ И ПР.

Идейная жизнь в Океании Орвелла не очень вдохновляющая. Она примитивна, легко обозрима и сводится к нескольким лозунгам. Насколько я помню, Уинстон ни разу не поддался соблазну подробно заняться доктриной Ангсоца. Если подумать, то никакого систематического учения Ангсоца и нет. Во времена Уинстона все учение — это лишь колючая проволока вокруг status quo власти. Уинстон даже не знает, существует ли вообще какое-нибудь учение; этого не знает уже никто. Может быть, когда-то существовала некая теория, когда-то давно, до революции, но от нее остался лишь обгоревший фундамент, на котором построили клетку из колючей проволоки, чтобы ни одна мысль не могла просочиться ни вовнутрь, ни наружу. Ни Орвелла, ни Уинстона, ни других жителей Океании (а теперь я вижу, что ни меня, ни других граждан стран Восточной Европы) не волновал вопрос, было ли это учение в своей первоначальной форме прогрессивным, означало ли оно прогресс в развитии

* Указанное издание, стр. 29.

человечества. Клетка из колючей проволоки отменяет вопросы такого рода, так же, как, в конце концов, она отменяет само мышление. Учение, не имеющее оппонента, учение, для которого Полиция Мысли заблаговременно освобождает кафедру, которое убивает любое проявление сомнения и критики — такое учение не может возбуждать интереса...

Орвелл абсолютно точно предсказал отмирание идейной жизни. Это его ясновидение вызывает у меня глубокий восторг, потому что во времена Орвелла марксизм и другие идеологии были живы и не могло быть уверенности в том, что они заостенеют так, как это показано в „1984“... Ведь я сам еще помню, как после войны все увлекались идеологией, на Западе и на Востоке, главным образом, марксизмом и ленинизмом. Огромная китайская армия побеждала под флагами учения Мао в одной битве за другой. Конечно, нельзя доказать, что Орвелл отождествлял Ангсоц с марксизмом... Антиутопия Орвелла имеет универсальное значение, и вполне возможно, что она могла бы относиться даже к социальным организациям разумных существ в космосе, а не только к людям, если бы эта организация дошла до стадии тоталитарного безумия. Может быть, мы, в Восточной Европе, могли бы сказать, что нас это не касается, что это — не о нас, потому что членам Партии не приказывают жить в безбрачии, наоборот, каждый свободно совокупляется, когда ему захочется, членов „Внутренней Партии“ не исключают. Было бы действительно проявлением духовной ограниченности понимать роман Орвелла как кривое зеркало, наставленное реальному социализму, позволив остальному миру потирать руки. От Орвелла никому не уйти, он для всех...

Одно бесспорно — невозможно запретить себе думать о взаимосвязях и сходстве реальной современности и антиутопии конца 40-х годов. Мы не можем, таким образом, делать вид, что когда Орвелл писал свою книгу, он старался не затронуть существующий социализм. Ведь он был убежденным социалистом и судьбы социалистических надежд были ему не безразличны. „1984“ вырастает из идейной основы 30-х и 40-х годов, это попытка ответить на тревожные вопросы, над которыми советская действительность в стадии строительства сталинизма заставляла задуматься. Орвелл в своей публицистике, например, в критике советского социализма был очень сдержан. Однако

в своем лучшем произведении он дал волю своему несогласию и даже отчаянию по поводу методов, посредством которых в СССР осуществлялся старый социалистический идеал, хотя ему были известны все оправдания и объяснения, которые в то время приводились и часто с сочувствием принимались. Социальный и политический строй, созданный Орвеллом в Океании, бесспорно, отражает критическое отношение и недоверие, которые автор испытывал по отношению к советской системе сталинского типа.

Конечно, каждый может читать Орвелла как хочет. Я его читал, изо всех сил стараясь как можно меньше радоваться над самыми грустными деталями, потому что это ужасно, когда Орвелл похож на действительность... Я, конечно, не виноват, что живу на такой широте и долготе, где в течение последних тридцати лет жизнь становится все более и более похожей на жизнь в Лондоне „1984“... Поэтому я переносу сюда и идейную жизнь Океании, поэтому я, наконец, назвал Уинстона Смита своим товарищем. Поэтому я не могу не сравнивать официальное государственное учение этой страны с доктриной Ангсоца.

Я делаю это не по злой воле. Об Орвелле иначе писать просто невозможно. Все остальное было бы ханжеством. Можно было бы, конечно, не писать о нем вообще, как мне советовали добрые люди, но я считал бы это предательством по отношению к моему товарищу Смиту, который столько раз помогал мне, столь многому меня научил, передав мне свой опыт... Орвелл никогда не узнает, как он помог мне — человеку, живущему в другом месте и в другое время.

Он помог мне разобраться в идейной жизни Океании и, тем самым, в придушенной духовной жизни моей страны. Во всей книге Орвелла не найти фразы о том, что свобода — главное условие духовной жизни, развития мышления. Однако книга разоблачает убогую болтовню, которая остается от всего идейного богатства человечества, после полного подчинения духовной жизни примитивным директивам власть имущих. Такой же болтовней стал бы Шекспир, переведенный на Новоречь.

Я на каждом шагу отдаю себе отчет в том, насколько мы похожи на Океанию. Так например, здание Министерства Правды! Я иду по городу и вижу, даже стараясь не видеть, что все здания, в которых занимаются пропагандой, выпускают ложь

и полуправду, организуют Минуты и Часы Низкопоклонничества, Минуты и Часы Ненависти, т. е. здания радио, телевидения, редакций газет великолепны, выше остальных — со множеством окон, стекла и людей. И я думаю: может, они его, Орвелла, все-таки читали? — я имею в виду тех, кто принимают постановления по проектам таких зданий.... Я думаю, что и директора радио и телевидения читали Орвелла — иначе как объяснить, что они выпускают в эфир этот отвратительный шум об успехах и перевыполненных планах? Когда я открываю газеты, я думаю о том же; сразу видно, что тысячи работников Министерства Правды постарались, чтобы в „Таймс“ не попало ничего, что могло бы взволновать сознание граждан Океании. Все — в наилучшем порядке, объятие Старшего Брата гарантирует безопасность, и на всех фронтах мы одерживаем одну победу за другой.

Если бы у нас не было врагов, уже давно был бы рай на земле. Одним словом, если бы не было этого проклятого Гольдштейна! И здесь мы подходим еще к одной детали, которая заставляет меня поражаться пророческим способностям Орвелла. Орвелл, скажем, мог следить за оргиями ненависти, которые Сталин инсценировал против Троцкого, а позднее и других „врагов и шпионов“. Орвелл был также свидетелем выступлений Гитлера, брызжащего ненавистью. Он мог слышать реакцию публики, напоминающую рев досисторического животного. Но меня удивляет прежде всего описанная им техника, холодно рассчитанная техника, при помощи которой можно вызывать и регулировать взрывы ненависти масс. Такой техникой способен овладеть бездарный государственный деятель. Подобное происходит не только у нас, но во всех тех странах, которым для сохранения бездарной власти или для сокрытия собственной беспомощности нужен враг. Когда я читаю о Двух Минутах Ненависти, о Неделе Ненависти и других подобных человеколюбивых компаниях, я говорю сам себе по секрету, что этого Орвеллу, пожалуй, не следовало писать. В этих строках дается простая инструкция возбуждения ненависти любой толпы, а это создает опасность, что бездарные политики, прочитав эти строки, наймут бездарных техников и организуют такой взрыв ненависти, от которого взорвется Земля и погибнет цивилизация... Рецепт известен всем, и может случиться, что даже столь добродушный

и симпатичный человек, как Уинстон Смит, вдруг поймает себя на том, что...

„кричит вместе с другими и неистово стучит каблучками по перекладине стула. Самое страшное в Двух Минутах Ненависти заключалось не в том, что каждый должен был участвовать в них, а в том, что, участвуя, невозможно было оставаться безучастным.

Но уже через тридцать секунд притворяться было незачем. Отвратительный экстаз страха и мести, желание убивать, мучить, сокрушать кузнечным молотом чьи-то черепа, подобно электрическому току, неслись по всему залу, превращая людей против их желания в визжащих и гримасничающих номешанных...

В этот миг вся группа людей низкими голосами, медленно, ритмично, монотонно затянула — „Эс-Бэ!... Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!...“ — очень медленно, с большой паузой между первым „эс“ и вторым „бэ“ — тяжелое, бормочущее пение, в котором было нечто первобытное: за ним невольно слышался топот босых ног и дробь том-тома. Оно тянулось секунд тридцать. Напев этот часто раздавался в минуты особенно большого подъема чувств. Он представлял собою род гимна в честь мудрости и величия Старшего Брата, но прежде всего это был акт самогипноза: намеренное усыпление сознания с помощью ритмического шума. В душе Уинстона словно что-то оборвалось. Если во время Двух Минут Ненависти он не мог устоять против общей истерии, то это получеловеческое, монотонное „Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!..“ всегда наполняло его ужасом”.*

Я читаю эти строки Орвелла одновременно с наслаждением и болью... Это ведь сказано не о далеком будущем. Я сам участвовал в подобных сценах и был свидетелем того, как легко поддаться массовому психозу...

Учитывая относительную прочность режимов восточноевропейских стран, понятно, что их государственная идеология не может все время ссыпаться лишь на одного врага. Со времен Эммануила Гольдштейна сменилось множество врагов, в каж-

дой стране были свои. Шпионов и предателей называли по-разному, но, в сущности, это всегда были какие-нибудь Гольдштейны. Орвелл выбрал удачную фамилию: в кампаниях по борьбе с врагом такая фамилия звучит чуждо, по-еврейски, и это годится. Гольдштейнам не помогало изменение фамилий — во всех странах, где происходили Кампании Ненависти, их все равно разоблачали.

С тех пор, когда врагами, главным образом внутри Партии, были многочисленные группы шпионов и предателей, которые, как нарочно, состояли, прежде всего, из самых старых и заслуженных ее членов, характер этих весьма нужных режиму врагов несколько изменился. Сейчас мы уже имеем дело не с заговорщиками, затаявшимися на высоких постах. Общий упадок сопровождается приниженным образом врага. Сейчас это — чаще всего люди, которые не скрывают своего несогласия. Они даже дают как-то понять, что не любят Старшего Брата и что у них появились сомнения относительно Аигсоца. Но это, конечно, не настоящие враги, потому что выглядят они одинокими и беспомощными, так что о них молчат. Для организованных Дней Ненависти сегодня лучше подходят враги заграничные, которых никто не знает настолько, чтобы проверить, кто они такие. Наиболее удобны тайные организации или, как их называют, диверсионные центры. Это само по себе звучит великолепно. Зарубежные радиостанции тоже годятся во враги. Значение отдельных групп может меняться, но нельзя, чтобы создалось впечатление, что врагов становится меньше или что они стали слабее.

Множество идейных врагов — чрезвычайно выгодный аргумент. Происки врагов — неистощимый источник инспирации, двигатель идеологической борьбы. Пропагандистам не приходится прилагать усилий для поисков сюжетов — всегда есть против чего бороться. Кто-то из вражеского лагеря что-то сказал или написал — вот тебе и сюжет. Его можно использовать до дна, вывернуть наизнанку; понося врага, упражняешься в ненависти. Идейная жизнь в тоталитарных структурах представляет собой обширную область паразитирования мысли — она черпает пищу лишь из тела врага. Эти структуры не в состоянии породить хотя бы одну-единственную важную идею, но они и не стремятся

* Упомянутое издание. Стр. 16—18.

к оригинальности. Более того, оригинальность мысли сама по себе подозрительна. Такой паразитизм имеет то преимущество, что можно каждый раз выбирать из вражеского арсенала такую идею или такую ее форму, которые можно уничтожить без особого труда. Более сложную идею можно немного видоизменить, чтобы она выглядела глуповатой — и победа обеспечена. Поскольку доступ к идеям врагов имеют лишь избранные, то нет опасности уличения в фальсификации. В Министерстве Правды и в других учреждениях, нередко научных, таким паразитированием зарабатывают на жизнь тысячи и тысячи людей. Эту работу многие любят — считается, что она больше подходит интеллигентному человеку, чем просто повторение официальной доктрины. Мол, таким образом, можно познакомить широкий круг людей с идеями, которым их критика все равно не повредит.

Очевидный парадокс заложен уже в самой основе современной и будущей идеологической войны. История социалистических стран с самого начала революции излагается как постоянная борьба с врагами...

Но представим себе хотя бы на минуту, что все враги исчезли. Это было бы ужасно. Ведь моментально испарились бы все объяснения неудач, за все пришлось бы отвечать нам самим. Status quo был бы моментально разрушен и одновременно рухнула бы основа идеологии, поскольку она сохраняется лишь паразитированием на чужих идеях. Работникам Министерства Правды пришлось бы что-то придумывать самим, и очень быстро стало бы очевидным, что без врагов доктрина впадает в немоту. Без Гольдштейна пропаганда свелась бы к мычанию, экраны погасли бы и умолкли.

Партия в Океании выдвинула три лозунга: „война — это мир“, „свобода — это рабство“, „невежество — это сила“. Уинстон, как и остальные жители Океании, не задумывается об этих лозунгах. Раздумья о них все равно ни к чему бы не привели, потому что зерно истины во всех трех лозунгах есть, и смекалый диалектик не даст спорщику слова сказать. Лишь последний лозунг в настоящее время, вероятно, стал непригодным, слишком уж он откровенен. В наши дни Партия такой лозунг не

вывесит, несмотря на то, что на всех уровнях власти она предпочитает лояльное невежество критическому знанию.

Орвелл дает понять, что смысл таких лозунгов не в подлинном их значении, не в том, что они действительно говорят о мире и политических целях. Смысл таких лозунгов — в их подсознательном воздействии на мышление людей. Эти лозунги подобны нечленораздельному бормотанию шаманов, это современные формы воплей, которыми доисторических существ стогнали в стадо. В таких лозунгах нет ничего инспирирующего, но цель их — не вдохновлять мысль, а заложить сознание в некую формулу, привычное сочетание, сплести паутину, которой можно опутать любую идею. Уинстон не старался вникнуть в смысл этих лозунгов. Он научился с ними жить. Так же научились жить с ними мои сограждане, и, конечно, я сам. Сейчас, правда, никто не говорит, что свобода — это рабство, но как только заходит речь о свободе, это понятие оказывается в сети, которую в мозгах развесила тридцатилетняя пропаганда. Натренированный мозг, не задумываясь, повторяет: свобода — да, но для кого? Конечно, не для тех, кто хотел бы ею злоупотребить для... и т. д. Так останавливают любую дискуссию о свободе в полном соответствии с лозунгом „свобода — это рабство“.

Не знаю, вычислил ли кто-нибудь с помощью компьютера эффективность таких лозунгов! Когда я вижу, что на них никто не обращает внимания, что люди совершенно равнодушно проходят мимо, воспринимая их как абстрактное оформление улиц в дни праздников, начинает казаться, что это напрасная трата бумаги, полотна, красок и человеческого труда. Я, как и Уинстон, не обращаю на них внимания и не могу судить, в какой мере они тормозят свободу мысли. Иногда мне кажется, что это всего лишь ритуал, пережиток старых времен. Но потом я вдруг обращаю внимание на то, что в публичных выступлениях никто не выговорит слова „мир“ без второй части лозунга — „борьба“ так что сразу возникают словосочетания „борьба за мир“, „мы боремся за мир“, „вперед за мир“. И сразу становится очевидным, что эти лозунги все же выполняют свою губительную функцию — они создают систему знаков, подобную китайским иероглифам, мешают многим сказать какие-то другие слова, чем те два-три, которым их научили.

Возможно, все это усваивается непроизвольно. Может быть, Партия знает, что люди легче подчиняются выкрикам первобытных охотников, чем утонченной аргументации разума... Уже во времена революции завели пружину истории, которая до сих пор придает определенную энергию механизму идеологической жизни в обществе реального социализма. Завода пружины едва хватает, чтобы колесики двигались, спотыкаясь на каждом зубце, и при этих заплетающихся шагах никаких идей не возникает. Таково было положение уже к 1984 г. Уинстон все это видел, и меня немного удивляет, что это не заронило в него надежду.

КНИГА

В обществах, с управляемой государством пропагандой, в атмосфере лжи и секретности, автоматически возникают легенды о таинственных книгах или о единственной книге — книге, разоблачающей всю ложь и представляющей правду во всем ее притягательном величии. Я помню такие легенды со своих двадцати лет, когда у нас началось всеобщее вранье и утаивание. Я встречал людей, которые о таких книгах слышали, даже держали их в руках или читали. Эти книги были окружены особым ореолом. По сравнению с обыкновенными книгами, которые можно было купить, это были аристократки, принцессы. В самом начале я говорил, как себя чувствует человек, когда ему, наконец, попадается в руки такая легендарная книга — ведь такой была и красная „дигвинка“ Орвелла.

Уинстон жил в подобном нашему миру. Он тоже слышал о существовании Книги. Усовершенствованной диктатуре в Океании противостояла одна-единственная оппозиционная книга. Это была книга Гольдштейна, в единственном экземпляре. Дело было не в тексте как таковом, эта книга вызывала любопытство и волнение просто как предмет.

„Черный, увесистый том в самодельном переплете без имени автора и без названия на обложке. Печать тоже как будто необычная. Страницы изорваны по краям и легко

рассыпаются, — книга, по-видимому, прошла через многие руки”.*

Сколько таких книг я держал в руках со времен моей молодости? Я должен сказать, что каждый раз я переживал от общения с ней особое волнение.

То же самое переживал и Уинстон, когда наконец-то к нему попала книга Гольдштейна, наконец-то он ее читал — он уже не был один на один со своими мыслями. Может быть, он ожидал большего, а, может быть, и нет; возможно, эта утаиваемая книга удивила его своим спокойным тоном, тем, что она лишь описывала состояние общества и избегала уничтожающих оскорблений Старшего Брата. Книга объясняла Уинстону, в каком обществе он живет и как все было прежде. Но книга не сказала Уинстону самого важного — не открыла тайну, мотивы происходящего, развязку. Книга подбиралась к этому, но у него не хватило времени дочитать. В комнату над лавкой старьевщика ворвалась Полиция Мысли. Катарсиса не произошло. Уинстон не обрел новой веры, не успел внутренне присягнуть, не смог помолиться наконец-то выявленной правде. Он прочел лишь холодное описание общественной структуры Океании и краткое изложение идеологии Ангсоца.

Мне, конечно, хотелось бы знать, какое значение придавал Орвелл тем нескольким страницам книги Гольдштейна, которые приведены в „1984”. Писал ли он этот текст свободно и независимо как писатель-автор фантастического романа, или изложил результаты своих теоретических размышлений, свое глубокое убеждение в черном будущем человечества, выразил безнадежность, порожденную безумием существующих идеологий. Я очень хотел бы знать, что Орвелл имел в виду под книгой Гольдштейна. Была ли она социологической галлюцинацией, соответствующей роли книги в обществе Океании? Или Орвелл высказал, что он действительно думал о европейской цивилизации в целом? Ответить на этот вопрос не просто, потому что Орвелл зашифровал ответ двойным кодом; книга должна быть лучшим произведением Гольдштейна, чем-то вроде его завещания, но, в конце концов, оказывается, что ее подобрала Уинстону Полиция Мысли. Ну, в этом ничего нового нет, так

* Упомянутое издание. Стр. 181.

поступали часто, когда автор не решался подписать текст, слишком выходящий за рамки традиционных представлений и существующего уровня так называемого научного познания и расходящийся с признанными теориями и авторитетами.

С этой точки зрения, чрезвычайно интересно проанализировать страницы книги Гольдштейна как выражение взглядов Орвелла. Ничто в этом тексте не наводит на мысль, что читатель может не принимать его всерьез. Книга начинается просто и лаконически:

„Во все исторические времена и, возможно, с конца Неолитической эры в мире существовало три рода людей: Высшие, Средние и Низшие. Они разбивались на множество подгрупп, носили бесконечно разнообразные названия, и их численность, как и взаимные отношения, менялись из века в век; но субстанция общества всегда оставалась неизменной. Подобно тому, как жироскоп, в какую бы сторону его ни отклонили, возвращается в устойчивое равновесие, в обществе, даже после самых сильных потрясений и переворотов, не оставляющих, казалось бы, никаких возможностей возврата к прошлому, вновь и вновь утверждались прежние нормы.

Цели этих трех групп человечества глубоко различны...»*

Далее Орвелл-Гольдштейн развивает это примитивное учение о расслоении общества, описывая вечную модель классовой борьбы, согласно которой Высших сменяют у кормила власти Средние, а Низшие всегда внизу и остаются. Кто стоит за этой теорией — Орвелл или Полиция Мысли? Если за ней стоит Орвелл, тогда эта народная, примитивная и даже несколько догматическая интерпретация классовой структуры общества означает одновременно отрицание способности социологии научно познать механизм социальной жизни; к тому же это — издевательство над всеми теориями классовой структуры общества, которые уже сотни лет препарировали его тело как труп. Можно было бы и позабавиться, и махнуть на них рукой. Половина того, что было написано о классах по видимости научно, обернулось бессмыслицей. За последние сто лет ни один класс не вел себя

* Упомянутое издание. Стр. 182.

так, как ему следовало бы себя вести согласно различным классовым теориям. Строгое деление общества по Орвеллу не более априорно, чем, например, механическая классовая теория марксизма, обнаруживающая в каждом периоде истории на всем ее протяжении лишь два антагонистических класса — уже в домашних слугах античных патрициев марксизм видел предшественников пролетариата. Но утверждение Орвелла в любом случае дерзко. Всегда ли это действительно было так? Как-то старый рабочий на стройке продемонстрировал мне другое: он взял в руки лопату и наглядно показал на ее древке, что находившиеся когда-то внизу теперь оказались наверху, но рабочие остались посередине и вынуждены по-прежнему вкалывать. Этот рабочий, конечно, не имел понятия, что он несколько видоизменил теорию Орвелла. Но он спонтанно использовал терминологию „1984“. Нужно сказать, что на протяжении всей своей жизни в обществе реального социализма я не слышал других терминов. Нормальный человек никогда не скажет „класс“, „рабочий класс“, „буржуазия“ и т. п. В полном согласии с Книгой он говорит лишь о „высших“, „низших“ и „средних“. Докладчиков на собраниях поучали: вам наверху легко, а нам, внизу, важно совсем другое...

Теория, развиваемая Орвеллом, довольно хорошо объясняет возникновение тоталитарных структур, многие ее идеи приемлемы для меня и сегодня, тридцать пять лет спустя. Ее нетрадиционная простота убедительнее многих научных трактатов, размазанных на сотни страниц. Ощущение такое, что читаешь заранее написанную историю.

„По окончании революционного периода 50-х и 60-х годов общество, как обычно, перегруппировалось на Высших, Средних и Низших. Но, в отличие от всех своих предшественников, новая Высшая группа действовала, руководствуясь не инстинктом, а точным знанием того, что ей необходимо для укрепления своих позиций. Уже давно было известно, что единственной прочной основой олигархий является коллективизм. Богатства и привилегии легче всего защищать тогда, когда они являются общим достоянием. Так называемая „отмена частной собственности“

ти", проходившая в середине столетия, означала фактически концентрацию собственности в очень немногих, по сравнению с прошлым, руках, но с той разницей, что собственником стала группа, а не масса индивидуумов. Взятый в отдельности член Партии не владеет ничем, кроме немногих личных вещей. Коллективно Партия владеет в Океании всем, ибо всем распоряжается и всю продукцию распределяет так, как ей кажется лучше. Всегда предполагалось, что если класс капиталистов будет экспроприрован, — наступит социализм. И капиталисты действительно были экспропрированы. У них было взято все — фабрики, шахты, земли, дома, транспорт, — и поскольку все это не было больше частной собственностью, постольку предполагалось, что все должно перейти в руки общества. Ангсоц, выросший на базе раннего социализма и унаследовавший его фразеологию, осуществил один из основных пунктов программы социализма, но в результате, как это и предвиделось, экономическое неравенство было закреплено навеки".*

Одна фраза из этой длинной цитаты сформулирована особенно удачно, и жаль, что она не оказалась среди общеизвестных орвелловских цитат. Это о том, что богатство и привилегии легче всего охранять, если они являются общей собственностью. К этому выводу многие мыслители пришли в последние годы, хотя они могли давно прочесть об этом в Книге. Тем не менее, речь идет об одной из строго охраняемых в последние пятьдесят лет тайн. Все социалистические движения национализировали частную собственность, иррационально веря, что этот акт сам по себе решит все проблемы, навеки гарантируя равенство и братство людей, которым уже нечего будет завидовать друг другу. Трудно поверить, какое завораживающее действие оказывал простой перевод промышленности из-под контроля бюрократа — чиновника частной фирмы под контроль бюрократа, оплачиваемого государством. Сегодня невероятно сложно объяснить, что этот акт фактически ничего не менял, во всяком случае для

* Упомянутое издание. Стр. 204—205.

тех, во имя кого все это производилось, т. е. для рабочих. Собственность довлеет над людьми не в соответствии с тем, на чье имя она записана, а в зависимости от того, кто ею управляет.

Я всегда испытывал неловкость, когда по телевидению показывали введение в строй нового завода, открытие универмага или ресторана. Государственные и партийные деятели в белых рубашках и при галстуках перерезали ленту и произносили речи о том, что мы стали еще богаче, что возросли масштабы нашей общей собственности. Я долго не мог понять, что здесь не так. Я знал, что завод не принадлежит рабочим, получившим за его строительство ордена. Я знал, что он не принадлежит и деятелям, произносившим торжественные речи. Они не могут записать завод на себя, не могут прийти к бухгалтеру и потребовать пол миллиона на расходы в любимом баре. Лишь благодаря Орвеллу я понял, что все это не имеет значения, что вопрос о собственности не играет никакой роли, что для структуры власти важен контроль над собственностью, власть распределять продукцию промышленности и сельского хозяйства, услуг — всего, что составляет так называемую коллективную собственность. Потому что привилегии, богатство, положение и конкретная власть, не обязательно связанная с номенклатурной должностью, — все это основано на праве распределять.

Это простое объяснение Орвелла, возможно, приложимо и к частной собственности, где право на часть прибыли не столь привлекательно, как непосредственный контроль над производством, распоряжение судьбами людей, пользование привилегиями экономической элиты. Это заколдованный круг: рабочие борются за национализацию промышленности, а победив, оказываются в том же положении, в каком они были ранее. А после того, как они это сознают, начинаются забастовки — и на Востоке и на Западе.

На других страницах текста Орвелла-Гольдштейна имеются замечания, которые звучат как новейшие идеи диссидентов Восточной Европы — например, те страницы Книги, где подробно анализируется техника власти, способы контроля за мыслью. Говоря о жизни и обязанностях членов Партии, Орвелл пишет:

„Член Партии обязан не только идти в ногу со временем

в своих воззрениях, но и обладать соответствующим чутьем. Многие догматы и правила поведения, которые вменяются ему в обязанность, никогда не были ясно сформулированы и не могут быть сформулированы без того, чтобы не вскрыть содержащиеся в Англсоце противоречия”.*

Это не только остроумные замечания, но и точное описание явления, присущего всем тоталитарным партиям. Я много раз наблюдал, как люди в важнейшие исторические моменты вели себя, подчиняясь инстинкту, а не разуму. Инстинкт подсказывал им вести себя в полном противоречии с разумом, честью и совестью. Поскольку они вели себя согласно инстинкту, Партия награждала их именно за то, что они отказывались от разума и совести. Знающие партийную фразеологию подтвердят, что Партия нисколько не стыдится инстинкта, на основе которого ее члены сохраняют ей верность любой ценой. Партия поощряет эти инстинктивные связи с властью, твердит о правильном классовом инстинкте, о классовых чувствах и другом иррациональном хламе — и делает это беззастенчиво, забывая, что социалистическое движение в XIX веке возникло как раз на основе отрицания такой чепухи. С точки зрения прогноза чисто в стиле Верна безусловно достойна внимания первая (вводная) глава сочинения Орвелла-Гольдштейна, где говорится о войне и объясняется лозунг „война — это мир”. Человек нашей эпохи сразу подумает, что у нас вместо трех сверхгосударств — три сверхдержавы, причем приблизительно в тех частях земного шара, куда поместил их Орвелл. Читая об исполнившихся прогнозах, мы, конечно, рады, что исполнилось не все. Мы рады, что нет перманентной войны между сверхдержавами, что идут лишь небольшие войны, в которых сверхдержавы участвуют через посредников, но используя свое оружие. Ненависть, конечно, воспитывается вполне целеустремленно. Среднее знание среднего человека о жизни, обычаях и образе мысли других народов и рас являются набором предрассудков и сознательной клеветы. Таким образом, чего нет, то может быть, причем с

* Упомянутое издание. Стр. 210.

с гораздо худшими последствиями, потому что давно исполнились мечты военных штабов супергосударств Орвелла, удалось решить проблему — „найти способ уничтожения нескольких миллионов человек в течение нескольких секунд без объявления войны”.

Менее убедительна другая теория Орвелла, которая повторяется в книге довольно часто. В ней утверждается, что система, существующая в Океании, является результатом заранее разработанного плана и гениального замысла. Нет никакого доказательства, что современные тоталитарные или, по орвелловской терминологии, олигархические общества в их сегодняшнем виде являются результатом продуманного замысла. Наоборот, все говорит о том, что эти общества сформировались как продукт повседневной борьбы за сохранение власти, и все первоначальные планы в ходе этой борьбы были заброшены и преданы. Эти общества — продукт прагматического самоопределения. Люди сверху постепенно учились технике управления, известной нам по Океании. Сначала они, может быть, и не думали, что они смогут создать такую систему. Разумеется, им очень помогла глупость тех, кто доверчиво отдал в их руки всю власть.

Но в Книге экскурс в историю англсоца и в теорию Партии остается незаконченным, основные вопросы остались без ответа. В момент, когда Уинстон должен был получить ответ, почему, собственно, все это происходит, каковы цели Партии, какая тайна скрывается за ними, в его читательскую обитель врывается Полиция Мысли. Уинстон так и не узнал, что было в Книге дальше. Здесь автор повел себя по отношению к читателю немного нечестно:

„Тут мы подходим к главной тайне. Как мы уже видели, мистика Партии, прежде всего Внутренней Партии, поддерживается *двоемыслием*. Но еще глубже под этим кроется первоначальная причина: неоспоримое побуждение, которое сначала привело к захвату власти, а затем вызвало к жизни и *двоемыслию*, и Полицию Мысли, и перманентную войну, и все прочее. Это побуждение состоит...”*

* Упомянутое издание. Стр. 216

На этом месте автор заставил Уинстона потянуться, встать, взглянуть на спящую Юлию, лечь спать и даже уснуть. Ну, не знаю, я бы на данном месте книги, наверное, не уснул. Это можно было бы счесть трюком, столь частым в детективных романах — разгадка тайны просто оттягивается, чтобы удержать читателя в напряжении до самого конца. Но Орвелл уже к этой фразе не вернулся и вообще нигде не сказал, каков же этот первоначальный мотив. Мы ничего не узнаем об этом и позже, в назидательных беседах в застенках Министерства Любви. Орвелл, возможно, отдавал себе отчет в том, что нельзя изложить всю сложную проблематику мотивации диктатуры. Может быть, он нащупывал какое-то общее объяснение, приблизился к какой-то большой правде, но потом испугался ее или увидел изъяны своего объяснения. Может быть, он понял также, что нет такой формулировки, нет одного мотива, одной универсальной тайны, являющейся причиной всех бед этого мира. Возможно, он поступил наилучшим образом. Уинстон был бы, может быть, разочарован, если бы смог дочитать до конца; может быть, были бы разочарованы и мы.

(продолжение в следующем номере)